

The poster features a woman whose face is vertically split. The left side is dark, cracked, and monstrous, while the right side is a beautiful, smiling woman. A young boy is seen from behind, hugging her. The background on the left is a dark, decrepit room with a crib and drawings on the wall. The background on the right is a warm, sunlit nursery with a window, a teddy bear, and a plant.

МАМА, КОТОРУЮ Я ПОМНЮ

—♡—
ЛАУР ДЕР ФРИН АВЕРТОН

Лаур Авертон.

Мама, которую я помню

<https://litres.ru/74284824>

SelfPub; 2026

Аннотация

Иногда самые страшные чудовища живут не под кроватью, а в нашей памяти.

Когда-то маленький мальчик рос в доме, где вместо любви были страх, одиночество и боль. Не сумев выдержать пережитое, он навсегда исчезает из той жизни. Но судьба дает ему второй шанс — он снова рождается... у той же женщины.

Только теперь она совсем другая. Любящая мать, заботливая жена и человек с добрым сердцем, готовый сделать все ради своего сына. Вот только мальчик помнит прошлую жизнь. Для него она по-прежнему чудовище, которого боится весь его мир.

Пока мать отчаянно пытается заслужить любовь собственного ребенка, сын ведет войну с призраками прошлого, не замечая настоящего. Но можно ли простить того, кем человек был когда-то? И что страшнее — встретиться с настоящим монстром или понять, что он давно исчез, оставив после себя лишь память?

Психологическая драма о боли, вине, памяти и силе любви, способной изменить даже самую страшную судьбу.

Содержание

Глава 1 Рождение	4
Глава 2 Дом без любви	15
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Лаур Дер Фрин Авертон. Мама, которую я помню

Глава 1 Рождение

Схватка началась ночью, когда за окном шёл мокрый снег — не зимний, уверенный и пушистый, а мартовский, липкий, превращавшийся на асфальте в серую кашу. Женщина проснулась не сразу. Сначала ей показалось, что это просто тяжесть в пояснице — последние недели перед родами спина болела почти постоянно. Она перевернулась на бок, поджала колени к животу и попыталась снова уснуть. Боль не ушла. Она накатила тёплой, тугой волной, заставила замереть, задержать дыхание, и только потом отпустила.

Женщина открыла глаза и уставилась в потолок. С кухни, кажется, всё ещё горел свет — муж допоздна работал, она слышала, как он стучал по клавиатуре, а потом затих. Значит, уснул прямо там, на диванчике, не раздеваясь. Она знала его привычку. Он всегда так делал, когда нервничал.

— Антон, — позвала она негромко, но голос прозвучал хрипло, неуверенно. Она прокашлялась и позвала снова, громче: — Антон!

Послышались шаги, звук задетого стула, и через несколько секунд дверь спальни распахнулась быстрее, чем она ожи-

дала. Муж стоял на пороге — взъерошенный, в мятой футболке, со следами усталости под глазами. Он смотрел на неё испуганно, ещё не понимая, что случилось, но уже готовый действовать.

— Началось? — спросил он, и его голос дрогнул на последнем слоге.

— Кажется, да.

Она ожидала, что он засуетится, начнёт метаться по квартире в поисках заранее собранной сумки (они собрали её ещё месяц назад, и с тех пор она стояла в коридоре, как немой укор её растущему равнодушию). Но он не засуетился. Он подошёл к кровати, сел на край, взял её руку в свою — его пальцы были тёплыми, сухими и очень спокойными — и сказал:

— Тогда поехали.

Она помнила эту фразу потом, спустя годы. «Тогда поехали». Так, будто они собирались не в роддом, где её тело разорвётся на части, выпуская в мир новую жизнь, а в спокойное, будничное путешествие. Может быть, на дачу. Или в гости к его родителям. Она тогда даже улыбнулась — впервые за много недель.

В машине, пока он вёл, одной рукой держа руль, а второй сжимая её ладонь, она смотрела на мокрые улицы, на жёлтые разводы фонарей в лужах, на редкие тени прохожих, спешащих укрыться от снега, и думала о том, что всё происходящее кажется ей нереальным. Будто она смотрит фильм про

какую-то другую женщину. Женщину, которая должна была стать матерью.

Она ждала этого девять месяцев. Она прошла через ток-сикоз, через слёзы без причины, через странное, пугающее чувство, когда ребёнок начинал шевелиться внутри, и ей казалось, что она больше не принадлежит себе. Она читала книги, которые приносил муж — про развитие плода, про дыхание во время схваток, про грудное вскармливание. Она исправно посещала врача, сдавала анализы, пила витамины. Она делала всё правильно. Но глубоко внутри, в том месте, куда она боялась заглядывать даже мысленно, жило холодное, скользкое сомнение: а хочет ли она этого на самом деле?

Ей хотелось быть хорошей матерью. Ей хотелось, чтобы муж гордился ею. Ей хотелось соответствовать образу, который уже сложился у всех вокруг: вот она, молодая, красивая, с круглым животом, светится изнутри, счастливая будущая мать. Но когда она пыталась представить ребёнка — не абстрактного младенца из рекламы подгузников, а настоящего, живого, кричащего, требующего её внимания каждую минуту, — внутри неё разверзалась пустота. Она не чувствовала ничего. Только страх.

— Ты боишься? — спросил муж, не отрывая взгляда от дороги.

— Немного, — ответила она.

Солгала. Она боялась не немного. Она боялась до тошноты, до ледяного пота на затылке. Но боялась она не боли.

Боль она могла вытерпеть. Она боялась того, что будет после. В роддоме всё завертелось быстро, почти механически. Приёмный покой, переодевание, осмотр, капельница, монитор, кровать в предродовой палате, где, кроме неё, лежали ещё две женщины — одна тихо постанывала, отвернувшись к стене, вторая спала, раскинув руки. Потом боль стала нарастать, сжиматься в плотный комок внизу живота, разворачиваться с такой силой, что из глаз брызнули слёзы. Она не кричала — только дышала так, как учили на курсах, быстро и мелко, как собака, и смотрела в одну точку на стене. Там было пятнышко — то ли от йода, то ли от ржавчины, — и она цеплялась за него взглядом, как за спасательный круг.

Время потеряло смысл. Она не знала, сколько прошло — час, два, пять. В какой-то момент её перевели в родильный зал, рядом появился врач, спокойный мужчина с седыми висками и усталыми, но добрыми глазами, акушерка, ещё кто-то. Ей говорили: «Тужься», «Дыши», «Ещё немного». И она тужилась, и дышала, и выла сквозь зубы от боли, которая казалась бесконечной.

А потом всё закончилось.

Тишина наступила внезапно. Сначала она услышала крик — тонкий, пронзительный, требовательный, — а потом всё стихло, и только этот крик остался, заполнил собой всё пространство. Ей на живот положили что-то тёплое, мокрое, маленькое, и она, всё ещё дрожа от пережитого, опустила глаза.

Он был красный, сморщенный, с тёмными слипшимися

волосиками на голове и крошечными, плотно сжатыми кулачками. Он кричал, широко открывая беззубый рот, и этот крик был самым живым звуком, который она когда-либо слышала.

— Мальчик, — сказала акушерка, и в голосе её слышалась улыбка. — Хороший, здоровый мальчик. Смотрите, какой богатырь.

Женщина смотрела на сына и ждала. Она ждала, что сейчас произойдёт то, о чём пишут в книгах и говорят в фильмах. Что сердце наполнится безусловной, всепоглощающей любовью. Что мир перевернётся. Что всё, что было «до», потеряет значение, а начнётся новое, светлое, — материнство. Она ждала, что станет той самой женщиной из образа — счастливой, сияющей, наполненной.

Но ничего не произошло.

Она лежала, смотрела на младенца, и внутри неё было пусто. Только усталость. Только боль, медленно отпускающая измученное тело. Только странное, отстранённое любопытство — как будто она рассматривала не своего ребёнка, а чужого, случайно оказавшегося рядом.

Медсестра забрала малыша, чтобы взвесить, измерить, обработать. Женщина закрыла глаза и провалилась в тяжёлый, вязкий сон без сновидений.

Она проснулась через несколько часов в палате. За окном уже светало. Снег перестал, небо очистилось, и первые утренние лучи осторожно, словно боясь потревожить, ложи-

лись на подоконник. Рядом, на соседней кровати, спала женщина — та самая, что постанывала ночью, — а в прозрачной пластиковой люльке у её изголовья лежал младенец, тихий, укутанный в белое одеяло.

Женщина повернула голову. Около её собственной кровати стояла такая же люлька. В ней, спелёнутый так туго, что виднелось только лицо, лежал её сын. Он не спал. Его глаза — тёмно-синие, ещё не определившиеся с цветом — были открыты, и ей показалось, что он смотрит прямо на неё. Смотрит спокойно, без страха, без требования, просто изучает, будто пытается понять, кто перед ним.

Она протянула руку и осторожно коснулась его щеки. Кожа была нежной, почти бархатной, и тёплой. Младенец чуть повернул голову, приоткрыл рот, но не заплакал.

И в этот момент в груди у неё что-то дрогнуло. Не любовь. Нет. Скорее — осознание. Осознание того, что этот маленький человек теперь полностью зависит от неё. Что её усталость, её пустота, её нежелание — всё это больше не имеет значения. Потому что он здесь. Он живой. Он смотрит на неё и ждёт.

Она убрала руку и отвернулась к стене.

В коридоре раздались шаги, приглушённый голос медсестры, звон какого-то инструмента. Жизнь роддома просыпалась, начинался новый день.

В обед пришёл муж. Его пустили в палату всего на пятнадцать минут, и он простоял их почти всё время у люльки,

глядя на сына с таким выражением лица, какого она у него никогда раньше не видела. Восхищение, смешанное с растерянностью. Гордость, смешанная со страхом. Он протянул палец, и младенец ухватился за него всей пятернёй — крепко, инстинктивно, цепко.

— Смотри, — прошептал муж, и голос его срывался от волнения. — Смотри, какой сильный. Он уже держит меня.

Она кивнула и улыбнулась — скорее для него, чем искренне. Она не чувствовала того же восторга, но ей хотелось, чтобы он этого не заметил. Чтобы он не догадался о той пустоте, которую она носила внутри себя.

— Как назовём? — спросил муж, всё ещё не отрывая взгляда от сына.

— Давай Миша, — сказала она. — Мы же обсуждали.

— Миша, — повторил он, пробуя имя на вкус. — Михаил. Мишенька. Да, хорошо. Очень хорошо.

Медсестра заглянула в палату и напредила, что время посещения заканчивается. Муж поцеловал жену в лоб — быстро, почти формально, — потом наклонился к люльке, коснулся губами крошечного лба сына и вышел, оглядываясь на пороге. В его глазах стояли слёзы.

Она осталась одна. Ну, почти одна — в палате по-прежнему лежала соседка, которая то ли спала, то ли делала вид, что спит. Младенец в люльке захныкал, потом замолчал, причмокнул губами и затих.

Женщина смотрела на сына и пыталась представить их бу-

дущее. Пыталась увидеть, как она везёт его в коляске по парку, как кормит с ложечки, как читает сказку на ночь, как ведёт за руку в первый класс. Она пыталась — честно пыталась — почувствовать хотя бы предвкушение всего этого. Но образы не складывались. Они рассыпались, как сухие листья под ветром, и на их месте снова и снова вырастала только пустота.

Ей было стыдно. Ей было страшно. Она думала: «Наверное, я просто очень устала. Наверное, это пройдёт. Все говорят, что сначала тяжело, а потом привыкаешь. Наверное, и я привыкну. Наверное, и я полюблю».

Но где-то очень глубоко, в том самом тёмном месте, куда она боялась заглядывать, уже зарождалось сомнение. Сомнение в том, что она вообще способна кого-то полюбить.

День сменился вечером. Принесли ужин — жидкое картофельное пюре, разваренную рыбу, компот из сухофруктов. Она поела без аппетита, просто потому что надо. Младенец спал. Соседка проснулась, покормила свою девочку, и они тихо переговаривались о чём-то — о прививках, о пелёнках, о молоке. Женщина отвечала односложно, кивая и улыбаясь, но мыслями была далеко.

Ночью, когда свет погасили и палата погрузилась в синеватый полумрак, пронизанный дежурным освещением из коридора, она заплакала. Тихо, беззвучно, уткнувшись лицом в подушку, чтобы никто не услышал. Она плакала не от жалости к себе — хотя жалость тоже была. Она плакала от ужаса

перед тем, что поняла: она не хочет быть матерью. Не хочет этого ребёнка. Не хочет этой ответственности. Не хочет этой навсегда изменившейся жизни.

И она ничего не может с этим поделать.

Младенец захныкал. Она вздрогнула, замерла, прислушалась. Хныканье перешло в требовательный плач. Соседка заворочалась на кровати, что-то пробормотала. Женщина заставила себя встать, подойти к люльке, взять сына на руки. Он был тёплый, податливый, и пахло от него молоком и чем-то неуловимо сладким, младенческим.

— Ну что? — прошептала она, прижимая его к груди. — Что ты хочешь?

Он не ответил, конечно. Он просто плакал, требовал её, тянулся к ней, искал грудь. Она села на кровать, неумело приложила его, чувствуя, как он захватывает сосок, как дёргает, причиняя боль. Молока почти не было — только молозиво, густое, желтоватое, но он сосал жадно, настойчиво, будто пытался добыть из неё всё, что у неё было, всё, что она могла дать.

И в этом его настойчивом, безжалостном требовании она впервые почувствовала не просто пустоту, а что-то другое. Что-то похожее на глухое, зарождающееся раздражение.

«Ты забираешь меня, — подумала она, глядя на его маленькое, напряжённое личико, на закрытые глаза, на пульсирующий родничок под тонкой кожей. — Ты забираешь меня всю. Моё тело. Моё время. Мою жизнь. И ты даже не спра-

шиваешь. Ты просто берёшь».

Она тут же устыдилась этой мысли. Так нельзя думать. Так не думают хорошие матери. Она должна быть благодарна, должна радоваться, должна любить. Но мысль уже засе-
ла внутри, как заноза, и пульсировала в такт движениям его
маленьких челюстей.

Через несколько минут кормления он уснул — прямо на
руках, так и не выпустив грудь. Она осторожно отняла его,
уложила обратно в люльку, укрыла одеялом. Во сне он ка-
зался совсем крошечным, беззащитным, и на мгновение она
всё-таки почувствовала что-то тёплое — не любовь, нет, но
нежность, смешанную с жалостью.

— Спи, — прошептала она. — Спи, Миша.

И отошла к окну.

За стеклом ночной город жил своей жизнью. Где-то дале-
ко гудели машины, перемигивались светофоры, мерцали ок-
на жилых домов. Снег, выпавший ночью, уже почти растаял,
оставив на тротуарах тёмные лужи. Март. Начало весны. На-
чало чего-то нового.

«Может быть, я просто не привыкла, — снова подумала
она, обхватывая плечи руками. — Может быть, через неде-
лю, через месяц всё изменится. Может быть, я проснусь од-
нажды утром и пойму, что люблю его».

Где-то глубоко внутри она знала: так не бывает. Любовь
либо приходит сразу — как это случилось у мужа, который
растаял в первые же секунды, — либо не приходит вообще.

Но она отказывалась в это верить. Она обещала себе, что будет стараться. Будет притворяться, если понадобится. Будет делать всё, что нужно, — кормить, пеленать, купать, гулять. Будет идеальной матерью, хотя бы внешне.

«Я справлюсь», — сказала она своему отражению в тёмном стекле.

Отражение промолчало.

А Миша спал в своей пластиковой люльке, и снилась ему, наверное, та жизнь, которую он только что покинул — тёплая, тёмная, безопасная. Он ещё не знал, что пришёл в этот мир ненадолго.

Что этот мир скоро закончится.

И начнётся другой.

Глава 2 Дом без любви

Мише исполнилось три года, когда он впервые понял, что тишина в их доме бывает разной.

Была тишина спокойная — та, что наступала вечером, когда отец возвращался с работы. Он открывал дверь своим ключом, в прихожей загорался свет, слышался шорох снимаемой куртки, глухой стук ботинок, составленных на обувную полку. Отец входил на кухню, где мать разогревала ужин, целовал её в висок — Миша много раз наблюдал это через щель между дверными косяками — и спрашивал: «Как прошёл день?» Мать пожимала плечами, отвечала что-то короткое, но в её голосе появлялась другая нота, более мягкая, почти тёплая. В такие вечера тишина была уютной, обжитой. Она пахла разогретой едой и папиным одеколоном. Она была безопасной.

Но была и другая тишина. Дневная. Она наступала, когда за отцом закрывалась входная дверь, и они оставались вдвоём — мать и сын. Эта тишина была другой. Она звенела. Она висела в воздухе, как натянутая струна, готовая порваться в любой момент. Она не пахла ничем. Она просто заполняла собой всю квартиру — от коридора до спальни — и делала каждый звук слишком громким, каждое движение слишком заметным.

В три года Миша, конечно, не мог сформулировать это

словами. Он просто чувствовал: когда отец дома, можно дышать свободно. Можно играть. Можно смеяться. Можно даже уронить ложку на пол — отец только хмыкнет и скажет: «Ничего страшного, поднимем». А когда отца не было, уронить ложку было нельзя.

Однажды — ему тогда было три с половиной, он запомнил это, потому что накануне мать испекла пирог с яблоками, и запах корицы ещё стоял в кухне, хотя самого пирога уже не осталось, — он разбил чашку.

Это была обычная белая чашка с синим цветочком на боку. Из неё пила мать — только она, больше никто. Миша залез на табуретку, чтобы дотянуться до стола, хотел взять свою кружку-непроливайку, стоявшую рядом, и случайно задел материнскую чашку локтем. Она соскользнула, ударилась о край столешницы, перевернулась в воздухе и разбилась о кафельный пол с негромким, но каким-то очень окончательным звуком. Осколки разлетелись в разные стороны — один, самый большой, закатился под холодильник, два других остались лежать у ножки стула.

Первой реакцией Миши был страх. Чистый, животный, мгновенный. Он замер на табуретке, вцепившись пальцами в край стола, и уставился на осколки. Сердце заколотилось так быстро, что стало трудно дышать. Он знал, что сейчас будет.

Шаги. Она слышала. Она была в соседней комнате, но этот звук — звон разбитого стекла — пробил тишину насквозь, и она уже шла. Её шаги всегда были быстрыми, лёг-

кими, почти неслышными, но сейчас они звучали громко, как удары молотка.

Дверь распахнулась.

Мать стояла на пороге кухни, и Миша, даже не поднимая глаз, чувствовал её взгляд. Тяжёлый. Давящий. Он проходил сквозь него, как холодный сквозняк.

— Что ты сделал? — спросила она. Голос был тихим. Слишком тихим.

Он не ответил. Язык прилип к нёбу. В горле встал ком, и он знал, что если попытается что-то сказать, то просто заплачет. А плакать было нельзя. Когда он плакал, становилось только хуже.

— Я тебя спрашиваю, — сказала она, делая шаг вперёд.

Миша поднял глаза. Её лицо было странным. Губы сжаты в тонкую линию, ноздри чуть раздуваются, глаза смотрят не на него, а как будто сквозь, в какую-то точку за его спиной. Она не кричала — пока. Но он уже знал, что это не крик был самым страшным. Страшнее всего было это лицо — замкнутое, чужое, будто она смотрела на него и не видела своего сына, а видела что-то другое. Какую-то ошибку. Какое-то недоразумение. Что-то, чего не должно было быть.

— Ты зачем залез на стол? — её голос стал выше, резче. — Ты зачем вообще сюда полез? Я тебя звала? Я тебя просила что-то брать?

Он мотнул головой.

— Нет, — прошептал он едва слышно. — Я только круж-

ку...

— Ты разбил мою чашку, — перебила она. — Ты разбил мою любимую чашку. Ты понимаешь это? Ты хоть что-нибудь понимаешь?

Она подошла ближе, схватила его за плечо — не сильно, но резко, пальцы сомкнулись на тонкой футболке, прижали ткань к коже — и сняла с табуретки, поставив на пол. Осколки хрустнули под её тапочками.

— Стой здесь, — приказала она. — Не двигайся.

Миша стоял, вжав голову в плечи, и смотрел, как она уходит за веником. Он знал, что наказание ещё не кончилось. Знал по опыту. Сейчас она вернётся, сметёт осколки, а потом снова начнёт говорить. И каждое слово будет как пощёчина, только не по лицу, а куда-то глубже, туда, где болит сильнее и дольше.

— Ты думаешь, мне легко? — говорила она, сметая осколки в совок резкими, злыми движениями. — Ты думаешь, мне нравится целый день сидеть с тобой? Я могла бы работать. Я могла бы жить нормальной жизнью. Но у меня есть ты. Ты. И всё, что ты умеешь — это всё ломать.

Она выпрямилась, поставила веник в угол и посмотрела на него. На этот раз прямо в глаза.

— Ты — моё наказание, — сказала она тихо, почти задумчиво, будто только сейчас осознала эту мысль и пробовала её на вкус. — Ты думаешь, я хотела такой жизни? Я хотела детей? Я хотела сидеть в четырёх стенах и убирать за тобой?

Это ты во всём виноват.

Миша не понимал значения всех этих слов. Ему было три с половиной года. Он не знал, что значит «нормальная жизнь» и «моё наказание». Но он слышал интонацию. Он видел её глаза — холодные, чужие. Он чувствовал, как внутри него что-то сжимается, скручивается в тугий узел, и этот узел болит, болит так сильно, что хочется закричать. Но кричать нельзя. Крик сделает только хуже.

— Уйди, — сказала мать и отвернулась. — Уйди с глаз моих. Я не хочу тебя видеть.

Он ушёл. На нетвердых, ватных ногах он прошёл в свою комнату — маленькую, узкую, с окном, выходящим на серую стену соседнего дома, — залез на кровать, забился в угол между стеной и спинкой и обхватил колени руками. Он не плакал. Он просто сидел и смотрел в одну точку.

Он думал о том, что сделал что-то очень плохое. Что-то непоправимое. И мама больше не любит его. А может, и не любила никогда. Может, он правда — наказание.

Ему было три с половиной года, и он уже знал, что он — плохой.

Детство Миши было похоже на хождение по канату, натянутому над пропастью. Никогда нельзя было предугадать, какая мама встретит его сегодня. Иногда — редко, очень редко — она бывала почти нормальной. Она варила кашу по утрам, включала мультики, даже улыбалась, глядя в экран телефона, и Миша мог на несколько часов поверить, что всё

наладилось. Что мама выздоровела. Что теперь так будет всегда.

Но потом что-то происходило. Что-то неуловимое, невидимое. Какая-то мелочь — разлитый сок, слишком громкий смех, вопрос, заданный не вовремя, — и всё рушилось. Мать менялась в лице. Её глаза становились пустыми, движения — резкими, голос — ледяным. И Миша снова превращался из сына во врага.

Отец ничего не знал. Вернее, знал — но не всё. Когда он возвращался вечером, квартира была прибрана, ужин стоял на плите, Миша сидел в своей комнате, тихий, как мышонок. Мать встречала мужа спокойной улыбкой, спрашивала, как прошёл день, слушала ответы, кивала. И только Миша видел, как эта улыбка исчезает, стоит отцу отвернуться.

Однажды, когда Мише было уже пять, он попытался рассказать. Это был вечер выходного дня. Отец сидел на диване, Миша пристроился рядом, прижался к его тёплому боку, вдыхал родной запах — смесь одеколona, сигарет (отец курил на балконе, но запах всё равно оставался) и чего-то ещё, безопасного, папиного. Мать была на кухне, гремела посудой.

— Пап, — прошептал Миша.

— Что, сынок?

— Мама меня не любит.

Отец замер. Рука, лежавшая на спинке дивана, чуть дрогнула.

— Почему ты так думаешь? — спросил он осторожно.

— Она говорит, что я плохой.

Отец помолчал. Потом вздохнул — глубоко, тяжело, будто выдохнул всю усталость, накопившуюся за день — и прижал Мишу к себе крепче.

— Мама тебя любит, — сказал он. — Просто она... она устаёт. Понимаешь? Она очень устаёт. Ты не плохой. Ты мой сын. Ты самый лучший.

Миша хотел поверить. Очень хотел. Но слова отца были как бинт, наложенный на глубокую рану, — сверху вроде бы чисто, а внутри всё равно кровоточит.

— Она говорит, что я виноват, — повторил он упрямо, будто пытался объяснить что-то, чего отец никак не мог понять.

Отец снова замолчал. Его лицо стало странным — Миша не видел, потому что уткнулся носом в его рубашку, но почувствовал, как напряглись мышцы под тканью.

— Я поговорю с мамой, — пообещал отец.

И он поговорил. В тот же вечер, когда Мишу уложили спать, он слышал их голоса из кухни. Сначала тихие, приглушённые, потом — громче. Отец что-то говорил, мать отвечала резко, почти зло. Потом она заплакала — Миша услышал этот звук, тонкий, прерывистый, похожий на скулёж собаки, которую ударили. Отец начал говорить тише, успокаивать. Через полчаса всё стихло.

На следующий день мать была с ним холодна, но спокой-

на. Она не кричала. Не говорила гадостей. Просто молчала. И это молчание было хуже крика, потому что в нём сквозило презрение. «Ты пожаловался, — говорило её молчание. — Ты предал меня. Ты настроил отца против меня. Ты — маленький, подлый предатель».

Миша больше никогда не жаловался отцу. Он понял: это бесполезно. Взрослые разговаривают между собой на каком-то другом языке, которого он не понимает. После их разговоров ничего не меняется. Мать не становится добрее. Отец не становится ближе. А сам он просто остаётся один на один с тишиной — той самой, дневной, звенящей, которая наступает, когда за отцом закрывается дверь.

В шесть лет Миша пошёл в школу. Это должно было стать спасением — хоть несколько часов вдали от дома, от тишины, от материнских глаз. И поначалу так и было. Школа оглушила его шумом, пестротой, множеством новых лиц. Учительница — пожилая женщина с мягкими руками и запахом ванильных духов — улыбалась ему, гладила по голове, хвалила за правильно написанные буквы. Одноклассники шутили, бегали на переменах, делились конфетами. Миша почти поверил, что мир может быть другим — ярким, громким, безопасным.

Но дом никуда не делся. Он ждал его каждый день в три часа, когда заканчивались уроки. Мать встречала его на пороге, и по одному её взгляду он сразу понимал, какой будет сегодняшний вечер. Хороший или плохой. Тихий или гром-

кий. Безопасный или нет.

В тот день — ему было шесть с половиной, осень только начиналась, за окнами шумел дождь, сбивая с деревьев жёлтые листья — он пришёл из школы позже обычного. Они с мальчиком из параллельного класса, Димкой, задержались в раздевалке: Димка показывал новую машинку, красную, с открывающимися дверцами, и Миша, забыв обо всём, играл с ним целых полчаса.

Когда он подошёл к двери своей квартиры и нажал на звонок (он не доставал до замка ключом — мать говорила, что ему ещё рано носить ключи), дверь распахнулась почти мгновенно, будто мать стояла за ней и ждала.

— Где ты был? — спросила она вместо приветствия.

— В школе, — ответил Миша, ещё не чувствуя опасности.

— Мы играли с Димой.

— Во сколько заканчиваются уроки?

— В три...

— А сейчас сколько?

Миша посмотрел на часы в прихожей — они висели высоко, но он уже умел определять время. Большая стрелка стояла на шести, маленькая — чуть дальше трёх.

— Половина четвёртого, — сказал он.

— Половина четвёртого, — повторила мать, растягивая слова. — Ты где был полчаса?

— Мы играли...

— Ты знаешь, что я волновалась? — её голос начал повы-

шаться. — Ты знаешь, что я уже собиралась звонить в полицию? Ты обо мне подумал? Ты вообще о ком-нибудь думаешь, кроме себя?

Миша стоял в прихожей, всё ещё в куртке, с ранцем за спиной, и смотрел на мать. Её лицо покраснело, глаза блеснули — не от слёз, а от какого-то странного, тёмного возбуждения, как будто она наконец получила повод сделать то, что ей давно хотелось.

— Ты эгоист, — сказала она, и каждое слово падало, как камень. — Ты думаешь только о себе. Тебе плевать на меня. Ты никогда обо мне не думал. С самого рождения ты только брал и брал, ничего не давая взамен.

— Я не эго... — начал он, но она не дала договорить.

— Молчи! — выкрикнула она, и её голос ударил его, как пощёчина. — Молчи, когда я с тобой разговариваю!

Она схватила его за плечи, развернула и толкнула в сторону его комнаты.

— Марш к себе. И не выходи, пока я не разрешу. Ты наказан. Никаких мультиков. Никаких игр. Сиди и думай о своём поведении.

Дверь за ним захлопнулась. Миша остался в комнате — один, в куртке, с ранцем за спиной. Он медленно снял ранец, положил его на пол, стянул куртку, бросил на кровать. Потом сел рядом и уставился в окно.

Дождь продолжал стучать по стеклу. Жёлтые листья прилипали к мокрому асфальту. Миша смотрел на серую стену

соседнего дома и пытался понять, что он сделал не так.

Он опоздал на полчаса. Это плохо, да. Но разве это повод кричать? Разве это повод называть его эгоистом? Он не знал точно, что значит это слово, но чувствовал, что оно нехорошее. Очень нехорошее.

И ещё он думал о том, что мать сказала про его рождение. «С самого рождения ты только брал и брал». Значит, он действительно что-то у неё забрал. Что-то важное. Может быть, жизнь, которую она могла бы прожить без него. Может быть, свободу. Может быть, счастье.

Он не знал, как это исправить. Не знал, как вернуть то, что забрал. Но он решил попробовать.

На следующий день, вернувшись из школы вовремя — минута в минуту, — он тихо прошёл на кухню, взял тряпку и начал вытирать стол. Потом подмёл пол в коридоре — неумело, размазывая пыль, но старательно. Потом сложил свои игрушки в коробку, хотя мать не просила. Он рисовал ей рисунки — цветы, солнышки, домики с дымом из трубы — и оставлял на кухонном столе. Он старался быть незаметным, не мешать, не шуметь, не задавать вопросов. Он думал: если я буду хорошим, если я буду удобным, если я перестану брать и начну давать — может быть, она изменится. Может быть, она посмотрит на меня иначе. Может быть, она наконец улыбнётся не только отцу, но и мне.

Но мать не изменилась. Она замечала его старания — как замечают муху, ползущую по стене, — и отводила взгляд.

Рисунки исчезали со стола бесследно, и он ни разу не видел, чтобы она их рассматривала. Она не ругала его за помощь, но и не хвалила. Ей было всё равно.

И это «всё равно» было страшнее всего. Потому что оно означало: его не существует. Для неё — не существует. Он — пустое место. Функция. Предмет. Что-то, что нужно кормить и одевать, но не нужно любить.

К семи годам Миша научился жить в двух мирах.

В первом мире — школьном — он был обычным мальчиком. Тихим, немного замкнутым, но вполне нормальным. Учительница хвалила его за старательность. Одноклассники привыкли, что он не лезет в драки и не кричит на переменах. Он даже сдружился с Димкой — тем самым, с красной машинкой, — и иногда ходил к нему в гости. Димкина мама была другой: она смеялась громко, разливала чай на скатерть и не ругалась за крошки на полу. Миша смотрел на неё с тайным, жадным любопытством, как смотрят на диковинного зверя. Значит, бывают такие мамы. Значит, бывает по-другому.

Второй мир был дома. Здесь действовали другие законы. Здесь нужно было быть тихим. Незаметным. Удобным. Здесь нельзя было приглашать друзей — «чтобы не позориться перед чужими людьми». Здесь нельзя было рассказывать о школе — «твои дурацкие истории никому не интересны». Здесь нельзя было плакать — «ты не девочка, прекрати истерику». Здесь всё было пропитано страхом — не страхом

побоев (мать не била его, только пару раз шлёпнула в сердцах), а страхом слов. Страхом тишины. Страхом того взгляда, которым она смотрела сквозь него.

Он привык просыпаться рано утром и лежать, прислушиваясь к звукам. Если на кухне гремела посуда и мать напевала что-то себе под нос — день мог быть хорошим. Если было тихо — жди беды.

Он привык есть то, что дают, даже если невкусно. Он привык не просить добавки. Он привык благодарить за каждую мелочь — «спасибо, мама», «спасибо за ужин», «спасибо, что постирала рубашку», — надеясь, что слова благодарности смягчат её, сделают чуточку теплее.

Но они не делали.

Однажды вечером, когда отец снова задержался на работе, а мать сидела на кухне с каким-то журналом, Миша решился на то, чего не делал давно. Он подошёл к ней, встал рядом, не касаясь, и сказал тихо, почти шёпотом:

— Мам, я тебя люблю.

Она подняла глаза от журнала. Посмотрела на него — долго, изучающе, будто видела впервые. Потом уголки её губ чуть дрогнули — не в улыбке, а в каком-то подобии усмешки.

— Иди спать, Миша, — сказала она ровным голосом.

— Я правда тебя люблю, — повторил он, отчаянно, будто от этих слов зависело всё.

— Я сказала — иди спать.

Он пошёл в свою комнату, разделся, лёг в кровать и долго смотрел в потолок. Где-то за стеной гремел лифт. На кухне мать перелистывала страницы журнала. Дождь, не перестававший уже третий день, тихо барабанил по стеклу.

Миша лежал и думал, что любовь — это, наверное, какая-то странная вещь. Её даёшь, а она не принимается. Как будто протягиваешь подарок, а человек смотрит сквозь него и не видит.

Может быть, он неправильно любит. Может быть, его любовь какая-то бракованная, как игрушка, которую нужно вернуть в магазин. Может быть, он сам бракованный. Не такой, как все. Неправильный.

С этой мыслью — тяжёлой, мутной, горькой — он заснул.

И снилось ему море. Он никогда не видел моря, только на картинках, но во сне оно было настоящим — огромным, синим, бескрайним. Он стоял на берегу, а волны накатывали одна за другой, и каждая волна что-то забирала с собой. Одну за другой они уносили его рисунки, его игрушки, его слова. И он стоял, и смотрел, и ничего не мог сделать.

Потому что море было внутри него.

И оно забирало всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.